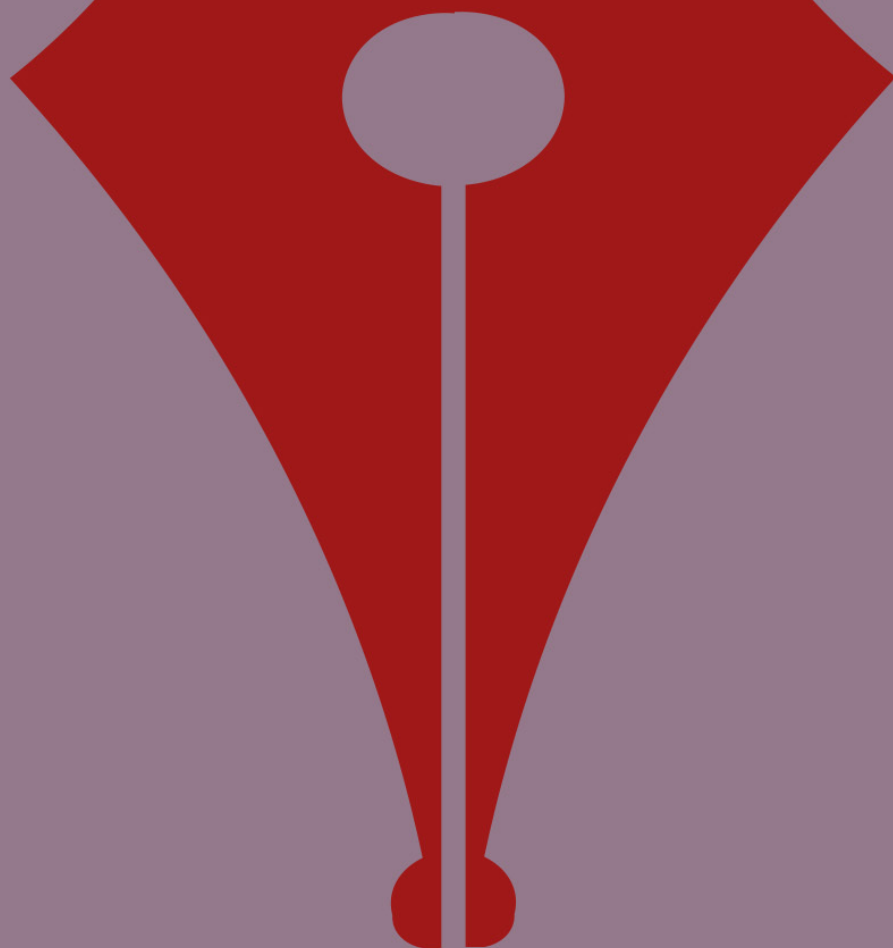


ЮРИЙ БОНДАРЕВ



БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ

Юрий Бондарев

Батальоны просят огня

«ЭКСМО»

1957

Бондарев Ю. В.

Батальоны просят огня / Ю. В. Бондарев — «Эксмо», 1957

Ю. В. Бондарев (1924) – известный русский писатель, воевавший в годы войны под Сталинградом, в Польше и на границе с Чехословакией. В повести «Батальоны просят огня» Великая Отечественная война показана глазами русского солдата, это голая правда о войне. В повести был поставлен вопрос о средствах, которыми победа была достигнута. Можно ли жертвовать жизнями отдельных людей ради общей цели? Можно ли оправдывать такие жертвы? По повести «Батальоны просят огня» снят одноименный сериал.

© Бондарев Ю. В., 1957

© Эксмо, 1957

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	11
Глава 3	13
Глава 4	23
Глава 5	30
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Юрий Васильевич Бондарев

Батальоны просят огня

Глава 1

Бомбежка длилась минут сорок. В черном до зенита небе, неуклюже выстраиваясь, с тугим гулом уходили немецкие самолеты. Они шли низко над лесами на запад, в сторону мутно-красного шара солнца, которое пульсировало в клубящейся мгле.

Все горело, рвалось, трещало на путях, и там, где еще недавно стояла за пакгаузом старая закопченная водокачка, теперь среди рельсов дымилась гора обугленных кирпичей; клочья горячего пепла опадали в нагретом воздухе.

Полковник Гуляев, морщась от звона в ушах, осторожно потер обожженную шею, потом вылез на край канавы и сипло крикнул:

– Жорка! А ну где ты там? Быстро ко мне!

Жорка Витьковский, шофер и адъютант Гуляева, гибкой независимой походкой вышел из пристанционного садика, грызя яблоко. Его мальчишеское наглое лицо было спокойно, немецкий автомат небрежно перекинут через плечо, из широких голенищ в разные стороны торчали запасные пенальные магазины.

Он опустилсЯ возле Гуляева на корточки, с аппетитным треском разгрызая яблоко, весело улыбнулся пухлыми губами.

– Вот бродяги! – сказал он, взглянув в мутное небо, и добавил невинно: – Съешьте антоновку, товарищ полковник, не обедали ведь...

Это легкомысленное спокойствие мальчишки, вид пылающих вагонов, боль в обожженной шее и это яблоко в руке Жорки внезапно вызвали в Гуляеве злое раздражение.

– Воспользовался уже? Трофеев набрал? – Полковник оттолкнул руку адъютанта и хмуро встал, отряхивая пепел с погон. – А ну разыщи коменданта станции! Где он, черт бы его!..

Жорка вздохнул и, придерживая автомат, не спеша двинулся вдоль станционного забора.

– Бегом! – крикнул полковник.

То, что горело сейчас на этой приднепровской станции, лопалось, взрывалось и малиновыми молниями вылетало из вагонов, и то, что было покрыто на платформах тлеющими чехлами, – все это значилось словно бы собственностью Гуляева, все это прибыло в армию и должно было поступить в дивизию, в его полк, и поддерживать в готовящемся прорыве. Все гибло, пропадало в огне, обугливалось, стреляло без цели после более чем получасовой бомбежки.

«Бестолочь, глупцы! – гневно думал Гуляев о коменданте станции и начальнике тыла дивизии, грузно шагая по битому стеклу к вокзалу. – Под суд сукиных сынов мало! Обоих!» На станции уже стали появляться люди: навстречу бежали солдаты с потными лицами, танкисты в запорошенных пылью шлемах, в грязных комбинезонах. Все подавленно озирали дымный горизонт, и щуплый низенький танкист-лейтенант, ненужно хватаясь за кобуру, метался меж ними по платформе, орал срывающимся голосом:

– Тащи бревна! К танкам! К танкам!..

И, наткнувшись растерянным взглядом на Гуляева, только покривился тонким ртом.

Впереди, метрах в пятидесяти от перрона, под прикрытием каменных стен чудом уцелевшего вокзала, стояла группа офицеров, доносились приглушенные голоса. В середине этой толпы на голову выделялся высоким ростом командир дивизии Иверзев, молодой, румяный полковник, в распахнутом стального цвета плаще, с новыми полевыми погонами. Одна щека его была краснее другой, синие глаза источали холодное презрение и злость.

– Вы погубили все! Па-адлец! Вы понимаете, что вы наделали? В-вы!.. Пон-нимаете?..

Он коротко, неловко поднял руку, и стоявший возле человек, как бы в ожидании удара, невольно вскинул кверху голову – полковник Гуляев увидел белое, дрожавшее дряблыми складками лицо пожилого майора, начальника тыла дивизии, его опухшие от бессонной ночи веки, седые взлохмаченные волосы. Бросились в глаза неопрятный, мешковатый китель, висевший на округлых плечах, нечистый подворотничок, грязь, прилипшая к помятому майорскому погону; запасник, по-видимому работавший до войны хозяйственным, «папаша и дачник»... Втянув голову в плечи, начальник тыла дивизии тупо смотрел Иверзеву в грудь.

– Почему не разгрузили эшелон? Вы понимаете, что вы наделали? Чем дивизия будет стрелять по немцам? Почему не разгрузили?..

– Товарищ полковник... Я не успел...

– Ма-алчите! Немцы успели!

Иверзев шагнул к майору, и тот снова вскинул мягкий подбородок, уголки губ его мелко задергались, в бессилии он плакал; офицеры, стоявшие рядом, отводили глаза.

В ближних вагонах рвались снаряды; один, видимо бронебойный, жестко фырча, врезался в каменную боковую стену вокзала. Посыпалась штукатурка, кусками полетела к ногам офицеров. Но никто не двинулся с места, лишь глядели на Иверзева: плотный румянец залил его другую щеку.

– Под суд! – низким голосом выговорил Иверзев. – Я отдам вас под суд! Полковник Гуляев, подойдите ко мне!

Гуляев, оправляя китель, подошел с готовностью; но этот несдержанный гнев командира дивизии, это усталое, измученное лицо начальника тыла сейчас уже неприятно было видеть ему. Он недовольно нахмурился, косясь на пылающие вагоны, проговорил глухим голосом:

– Пока мы не потеряли все, товарищ полковник, необходимо расцепить и рассредоточить вагоны. Где же вы были, любезный? – невольно поддаваясь презрительному тону Иверзева, обратился Гуляев к начальнику тыла дивизии, оглядывая его с тем болезненно-сострадательным выражением, с каким глядят на мучимое животное.

Майор, безучастно опустив голову, молчал; седые слипшиеся волосы его топорщились на висках неопрятными косичками.

– Действуйте! Дей-ствуй-те! В-вы, растяпа тыла! – крикнул Иверзев с бешенством. – Марш! Товарищи офицеры, всем за работу! Полковник Гуляев, разгрузка боеприпасов под вашу ответственность!

– Слушаюсь, – ответил Гуляев.

Иверзев понимал, что это глуховатое «слушаюсь» еще ничего не решает, и, едва сдерживая себя, перевел внимание на коменданта станции – сухоощавого, узкоплечего подполковника, замкнуто курившего у ограды вокзала, – и добавил тише:

– А вы, товарищ подполковник, ответите перед командующим армией за все сразу!..

Подполковник не ответил, и, не ожидая ответа, Иверзев повернулся – офицеры расступились перед ним – и крупными шагами пошел к «виллису» в сопровождении молоденького, тоже как бы рассерженного адъютанта, щеголевато затянутого в новые ремни.

«Уедет в дивизию», – подумал Гуляев без осуждения, но с некоторой неприязнью, потому что по опыту своей долгой службы в армии хорошо знал, что в любых обстоятельствах высшее начальство вольно возлагать ответственность на подчиненных офицеров. Он знал это и по самому себе и поэтому не осуждал Иверзева. Неприязнь же объяснялась главным образом тем, что Иверзев назначил ответственным именно его, безотказного работягу фронта, как он иногда называл себя, а не кого другого.

– Товарищи офицеры, прошу ко мне!

Гуляев лишь сейчас близко увидел коменданта станции; меловая бледность его лица, вздрагивающие худые пальцы, державшие сигарету, позволяли догадаться, что этот человек

сейчас пережил. «Отдадут под суд. И за дело», – подумал Гуляев и сухо кивнул подполковнику, встретив его ищущий взгляд.

– Ну, будем действовать, комендант!

Когда несколько минут спустя комендант станции и Гуляев отдали распоряжение офицерам и к горящим составам, зашипев паром, подкатил маневровый паровозик с перепуганно высунувшимся машинистом, а тяжелые танки стали, глухо ревя, сползать с тлеющих платформ, к полковнику, кашляя, задыхаясь, моргая слезящимися глазами, подбежал начальник тыла дивизии, затряс седой головой.

– Боеприпасы одним паровозом мы не спасем! Погубим паровоз, людей, товарищ полковник!..

– Эх, братец вы мой, – досадливо сказал Гуляев. – Разве вам в армии служить? Где ж вы фуражку-то потеряли?

Майор скорбно улыбнулся.

– Я постараюсь... Я все, что смогу... – заговорил майор умоляюще. – Комендант сообщил: прибыл эшелон. Из Зайцева. Стоит за семафором. Я сейчас за паровозом. Разрешите?

– Мигом! – скомандовал Гуляев. – Одна нога здесь... И, ради Бога, не козыряйте. Как корягу, руку подносите, черт бы вас драл! И без фуражки!..

Майор сконфуженно попятился, рысцой побежал к перрону, неуклюже колыхая плечами, подпрыгивая, наталкиваясь на танкистов; они раздраженно матерились. Его мешковатый китель, взлохмаченная голова мелькнули в последний раз в конце перрона, в сизо-оранжевом дыму близ крайних вагонов, где с треском, с визгом осколков лопались снаряды.

– Жорка! А ну за майором! Помогите! А то носит его... видишь? За смертью гоняется! – сказал Гуляев. Жорка усмехнулся, ответил небрежно:

– Есть, – и последовал за майором своей цепкой, скользящей походкой.

Полковник Гуляев ходил около вокзала, глядел на пылающие вагоны со вздыбленными крышами, сознавая, что все здесь охваченное огнем могло спасти только чудо. Он думал о том, что этот пожар, уничтожающий боеприпасы и снаряжение не только для истощенной в боях дивизии, но и для армии, оголял его полк, батальоны которого подтянулись к Днепру в течение прошлой ночи. И как бы умны ни были сейчас распоряжения Гуляева, как бы ни кричал он, ни взвинчивал людей, все это теперь не спасало положения, не решало дела.

Он видел, как бегал в дым и вновь выныривал в просветах пожара маневровый паровозик, свистя, носился по путям с прилипшим к буферу сцепщиком, разъединял искореженные осколками вагоны, оглушая лязгом железа, толкал их в тупик. Танки обрушивались через края платформы на бревна, скатывались на землю; недовольно ревя, будто обожженные звери, уползали к лесу за станционным зданием.

Мимо вокзала пробежал высокий танкист-подполковник, лицо его было озлоблено, все в темных пятнах гари, он не заметил Гуляева.

– Подполковник! – зычно окликнул Гуляев, чуть подбирая полнеющий живот, как делал это всегда, готовясь отдать приказание.

– Чего вам? – Танкист остановился. – Я вам не подчинен!..

– Сколько танков вышло из строя?

– Не подсчитано!

– Тогда вот что! Освободятся люди – пошлите их на расцепку вагонов! Сейчас придет еще паровоз...

– Я людьми швыряться не намерен, товарищ полковник! Как воевать без людей буду?

– А как же будет воевать дивизия? А? Вся дивизия? – спросил Гуляев, чувствуя, что снова сбивается на тон Иверзева, и раздражаясь на себя за это. Воспаленные веки танкиста упрямо сузились.

– Не могу! Я отвечаю за своих людей, полковник!

В ближайшем вагоне с грохотом взорвалось несколько снарядов, взметнулась крыша, дохнуло обжигающим жаром. Лицам стало горячо. На мгновение оба отвернулись, их заволокло дымом; танкист закашлялся.

– Товарищ полковник, разрешите обратиться? – послышался в эту минуту за спиной Гуляева насмешливый голос.

– По-до-жди-те! – холодно, не оборачиваясь, проговорил Гуляев и добавил жестко: – Я потребую... потребую выполнения, танкист!

– Товарищ полковник, разрешите обратиться?

– Кто еще тут? – Гуляев, морщась, круто повернулся и удивленно воскликнул: – Капитан Ермаков? Борис? Откуда тебя черти принесли?

– Здравия желаю, товарищ полковник.

Среднего роста капитан в летней выгоревшей гимнастерке с темными следами от портуеи стоял возле; тень от козырька падала на половину смуглого лица, карие, дерзкие глаза, белые зубы блестели в обрадованной улыбке.

– Ну, не узнаете, товарищ полковник! – оживленно повторял он. – Что, не верите? Доложить, что ли?

– Да откуда тебя черти принесли? – вновь проговорил Гуляев, сначала нахмурился, потом засмеялся, грубовато стиснул капитана в объятиях и сейчас же отстранил его, косясь через плечо.

– Идите, – буркнул он танкисту. – Идите.

– Дайте жрать, полковник! Толком четыре дня не ел! – сказал капитан, улыбаясь. – Я сутки без дымового довольствия!..

– Да откуда ты?.. Докладывай!

– Из госпиталя. Ждали в пути, когда кончится у вас тут. Потом появляется Жорка с майором, ну и... прикатали на паровозе.

– Легкомыслие? Шутишь все? – пробормотал Гуляев, всматриваясь в заштопанный рукав капитанской гимнастерки, и густо побагровел. – Не писал из госпиталя, хинная ты душа! А? Молчал, ухарь-купец!

– Я хочу не есть, а жрать! – ответил капитан, смеясь. – Дайте хоть сухарь! Водки не прошу.

– Жорка! – крикнул полковник. – Проведи капитана Ермакова к машине!

Жорка, до этого скромно стоявший в стороне, просветлел лицом, заговорщицки подмигнул капитану голубым невинным глазом:

– Тут в лесу. Недалеко.

Все, что можно было сделать в создавшихся обстоятельствах, было сделано. Устало догнали загнанные в тупики вагоны; с последним, как бы неохотным треском запоздало рвались снаряды. Пожар утих. И только теперь стало видно, что стоял теплый, погожий день припозднившегося бабьего лета. Чистое сияющее небо со стеклянno высокой синевой развернулось над лесной станцией. И лишь на западе неуловимо светились в бездонной его глубине беззвучные зенитные разрывы.

Порыжевшие, тронутые осенью приднепровские леса, окружавшие черное пепелище путей, обозначились четко, как в бинокле.

Полковник Гуляев, потный, разомлевший, не без наслаждения скинув горячие сапоги с усталых ног, подставив ноги солнцу и расстегнув китель на волосатой пухлой груди, лежал в станционном садике под облетевшей яблоней. Здесь все по-осеннему поблекло, поредело, везде неяркий блеск солнца, везде хрупкая прозрачная тишина, вокруг легкий шорох палых листьев, чуть-чуть тянуло свежим воздухом с севера.

Капитан Ермаков лежал рядом, тоже без сапог, без ремня и фуражки. Полковник, хмурясь, сбоку рассматривал его исхудалое, побледневшее лицо, прямые брови; черные волосы упали на висок, шевелились от ветра.

– Та-ак, – проговорил Гуляев. – Никак, раньше времени прибежал? Что, не терпелось, терпелу не было?

Ермаков вертел опавший яблоневого лист, задумчиво шурился на него.

– Променять госпитальную койку вот на это... стоило, честное слово, – ответил он, сдвинул лист с ладони, проговорил полусерьезно: – Вы что-то, полковник, растолстели. В обороне стоите?

– Ты мне не вкручивай, – недовольно перебил Гуляев. – Я спрашиваю, почему прибежал?

Ермаков потянулся к яблоне, сорвал голую веточку, внимательно осмотрел ее, сказал:

– Вот, оторвал эту ветку – и она погибла. Верно? Ладно, оставим лирику. Как там моя батарея, жива? – И, слегка усмехнувшись, повторил: – Жива?

– Твоя батарея ночью форсировала Днепр. Ясно? – Гуляев повозился, поерзал животом по желтой траве, по сухим листьям, спросил: – Какие еще вопросы?

– Кто командует батареями?

– Кондратьев.

– Это хорошо.

– Что хорошо?

– Кондратьев.

– Вот что, – грубовато и решительно проговорил Гуляев, – хочу предупредить тебя, и без шуток, дорогой мой. Будешь грудью по-дурацки, по-ослиному пули ловить, храбрость показывать – к чертовой бабушке спишу в запасной полк! И баста! Спишу – и баста! Убьют ведь дурака! Что?

– Ясно, – сказал капитан. – Все ясно.

Обветренное, крупное, заметное покатым морщинистым лбом лицо полковника медленно отпускало выражение недовольства, нечто похожее на улыбку слабо тронуло его губы, и он проговорил с грустным весельем:

– Оторванная ветка! Ска-жи-те! Философ, пороть тебя некому!

Лежа на спине, Ермаков по-прежнему задумчиво глядел в холодноватую синеву неба, и Гуляев подумал, что этому молодому здоровому офицеру мало дела до его слов, до откровенного беспокойства, не предусмотренного никаким уставом, – они знали друг друга со Сталинграда. Был полковник одинок, вдов, бездетен, и он точно бы видел в Ермакове свою молодость и многое прощал ему, как это иногда бывает у немало проживших на свете и не совсем счастливых одиноких людей.

Долго лежали молча. Пустой, перепутанный паутиной садик был насквозь пронизан золотистым солнцем. В теплом воздухе планировали листья, бесшумно стучаясь о ветви, цепляясь за паутину на яблонях. В тишину долетало отдаленное гудение танков из леса, тонкое шипение маневрового паровозика на путях, отзвуки жизни.

Сухой лист упал полковнику на плечо. Он медленно смял его в кулаке, скосил глаза на Ермакова.

– Прорывать оборону будем. Крепкий орешек на правом берегу. Что замолчал?

– Так, думаю. И сам не знаю о чем, – сказал Ермаков.

Со стороны вокзала, приближаясь, слышались голоса, показавшиеся странными здесь, – женские голоса, звучные и будто стеклянные в тихом воздухе полуоблетевшего сада. Полковник Гуляев, неловко повернув обожженную шею, крикнул от боли, недоуменно оглядываясь, спросил:

– Это что же такое?

По тропе, левее вокзала, через сад двигались две женщины, несли огромный сундук, переплетенный веревками. Одна, молодая, босоногая, в выцветшей блузке, небрежно заправленной в юбку, шла изогнувшись, напрягая крепкие икры, другая, постарше, была в мужской телогрейке, в сапогах, смуглое лицо измождено, волосы растрепались, и солнце, бывшее сзади, просвечивало их.

– Далеко ли, красавицы? – крикнул Гуляев и, кряхтя, сел, потер колени.

Женщины опустили сундук; молодая выпрямилась, нестеснительно оглядела грузноватую фигуру Гуляева, игриво-дерзким взглядом скользнула по лицу Ермакова и вдруг фыркнула, засмеялась.

– Помогли бы, товарищ полковник, вещи у нас больно тяжелые! Seriously...

Ермаков спросил с явным интересом:

– А вы что же, недалеко живете? Здешние?

Молодая заулыбалась, выставила грудь, ловкими пальцами поправила косынку над тонкими бровями, а та, что постарше, в телогрейке, потупилась, смугло покраснела. Молодая бойко сказала:

– Мы рядом тут. В лесу село... Одни мы! Просто одни. Помогли бы?..

– Пойдем? – полувопросительно сказал Ермаков. – А, товарищ полковник?

– Да ты что? – свирепым шепотом остановил его Гуляев и протестующе замахал крупной рукой. – Не в форме мы, красавицы, босиком, видите? Наше дело военное, бабоньки, некогда нам! Идите, идите себе!

Немного спустя, когда женщины скрылись в конце сада, полковник, наморщив озабоченно лоб, заторопился, стал натягивать шерстяные носки, говоря:

– Кончено. Поехали. Хватит.

Ермаков шутливо сказал ему:

– А может быть, пойдем? Надо бы помочь.

– Да ты что? – Гуляев, багровея, ожесточенно вбил ногу в узкий сапог, резко одернул на животе китель. – Нечего нам тут. Залежались. Дел по горло!

Косматое нежаркое солнце садилось в леса.

Глава 2

Ночь застала их в дороге, холодная, звездная октябрьская ночь. Шумом, движением, людскими голосами была наполнена лесная темнота. Жорка изредка включал фары, и в белом коридоре то мелькала оскаленная, скошенная на свет морда лошади, то заляпанный грязью борт грузовика, то кухня, разбрызгивающая по дороге раскаленные угли, то щит орудия и нахохленные спины ездовых, то неспящие лица солдат. Все это двигалось, шло, ехало, копошилось, скакало во тьме туда, где за лесами тек Днепр.

– Гаси! Гаси фары, дьявол! – метнулся от подпрыгивающей впереди повозки крик, мимо скользнуло белое лицо ездового, и по борту «виллиса» жестяно хлестнул кнут.

– Надо бы через спину тебя протянуть, – ворчливо пробормотал полковник. – А ну, гаси. И перестань жевать, ну?

Хмуро вобрав голову в плечи, Гуляев смотрел сквозь ветровое стекло на дорогу; Жорка лениво грыз сухарь, одной рукой держал руль, изредка поглядывая вверх, где текло мерцающее холодное небо.

– Вот бродяга! – сказал он и спрятал сухарь в карман. – Гляньте-ка, товарищ полковник, опять фонари развесили.

В небе распушался сумрачный желтый свет: четыре осветительные бомбы, роняя искры, высоко висели над лесом среди звезд. Они медленно летели, косо и тихо опускаясь. Вверху выступили из темноты, четко прорезались оголенные вершины деревьев. Лес сразу ожил, черные тени кустов поползли, задвигались на дороге, мешаясь с тенями людей, машин, повозок; впереди ожесточенно взревели танки, кто-то зычно подал команду из глубины колонны:

– Сто-ой!

Жорка вопросительно поднял одну бровь; полковник проговорил в воротник:

– Обьезжай.

«Виллис» обогнул колонну машин, тесно сгрудившиеся повозки, орудия, понесся впри-тирку к лесу, ветви захлестали, забили по бортам, упруго подбрасывало на корневищах. Деревья расступились, стало по-дневному светло. Над головой, разгораясь,плыли «фонари». Впереди с громом рванулось двойное пламя, и в лесу ахнуло, загремело, как в пустых коридорах.

– Куда? Куда под бомбы прешь? Не видишь? – закричал кто-то отчаянным голосом, и человеческая фигура метнулась перед радиатором. – Ку-уда?..

– Стоп! – скомандовал Гуляев, вынося вон из машины ногу.

«Виллис» с ходу затормозил, и Ермаков ударился бы о спинку переднего сиденья, если бы не спружинил руками. Полковник вылез, пошел вперед к сумеречно освещенной «фонарями» колонне танков; моторы работали, стреляя резкими выхлопами, танки продвигались толчками к матово отблескивающей воде. Там, в проходе, образованном съехавшими к обочине повозками и кухнями, они с гулом вползали на качающийся понтонный мост.

– Днепр? – спросил Ермаков, наклоняясь к уху Жорки.

– Не-е, рукав... Днепр дальше, – ответил Жорка. – Почуяли, бродяги, все время тут долбят... Во кинул, бродяга! Слышите – поросята завизжали?

Заглушая гул танковых моторов, крики у переправы, ржанье лошадей, новые пронзительные, рвущие воздух звуки возникли в небе. Небо обрушилось; ослепляя, брызнули шипящие кометы, полыхнули огнем в глаза; «виллис» с силой толкнуло назад. Ермаков, испытывая холодно-щекочущее чувство опасности, притупившееся в госпитале, смотрел на разрывы, затем увидел в хаосе рвущихся вспышек на миг повернутое к нему лицо Жорки, сквозь грохот прорвался его голос:

– Ложи-ись, товарищ капитан! Пикирует!

И Ермаков, возбужденный, со сжавшимся сердцем, – отвык, отвык! – делая размеренные движения, вылез из машины и, чувствуя глупость того, что делает, заставил себя не лечь, а стоять, наблюдая за дорогой.

В ту же минуту металлический нарастающий рев мотора начал давить на уши. С белесого неба стремительно падала на переправу тяжелая тень, оскаливаясь пулеметными вспышками. И он поспешно лег возле машины. Красные короткие молнии, подымая ветер, отвесно неслись вдоль колонны. Упала, забилась в оглоблях, заржала лошадь. «О-ох, о-ох», – послышалось из леса; что-то зашлепало по мокрому песку вокруг головы Ермакова, и он непроизвольно нащупал и отбросил горячую крупнокалиберную гильзу.

В глубине леса учащенно и запоздало застучали скорострельные зенитные орудия. Трассы вслепую рассыпались в небе, все мимо, мимо тяжелого низкого силуэта самолета. Гул его удалялся. Зенитки смолкли. Угасающие «фонари» опустились к самой воде. И было слышно, как на другой стороне рукава слитно рокотали танки: они переправились во время бомбежки. Ермаков поднялся с земли, разозленный, подавленный тем, что чувство страха оказалось сильнее его, отряхнул сырой налипший на колени песок, подумал: «Разнежился. Конеч. Пренняя жизнь начинается».

– Из санроты! Где санрота? Санитары! – донесся крик из колонны, и она зашевелилась, задвигались фигуры меж повозок и машин.

– Жорка! – раздался голос Гуляева. – Все целы?

– Целы, целы. Поехали, – ответил Ермаков преувеличенно спокойно.

«Виллис» снова понесся по дороге к Днепру.

Ермаков смотрел на мелькающие стволы берез, на темную нескончаемую колонну; сырой ветер обливал холодом потную от возбуждения шею, еще не проходило раздражение на самого себя после только что пережитого страха; он не любил себя такого.

Так же, как большинство на войне, Ермаков боялся случайной смерти: смерть в нескольких километрах до фронта всегда казалась ему такой же унизительно глупой, как гибель человека на передовой, вылезшего с расстегнутым ремнем из окопа по своей нужде.

– Началось наше, – сказал Жорка и осторожно захрустел сухарем, включил на мгновение фары. Вспыхнув, они скользнули по борту «студебеккера», осветили масляно заблестевшую пехотную кухню в кустах, толпу солдат с котелками; потом на перекрестке дорог выхватили на стволе сосны деревянную табличку-указатель «Хозяйство Гуляева». Эта стрела показывала влево, другая прямо – «Днепр». Машины, повозки и люди текли туда через лес, где неясный зеленый свет мигал и гас над вершинами деревьев.

Полковник Гуляев сказал:

– Давай в хозяйство.

– Жорка, остановись! – громко приказал Ермаков.

– Что такое?

«Виллис» остановился; встречный ветер упал, был слышен буксующий вой «студебеккера», слитный скрип колес, фыркание лошадей, голоса. Ермаков молча прыгнул на дорогу, потянул из машины планшетку.

– В батарее? – устало спросил Гуляев. – Стало быть, в батарее? Так вот что. Там тебе делать нечего. Н-да! Кондратьев там. Артиллерии в дивизии много. Найдем место. Не торопись. Была бы шея, а хомут...

– Может, в адъютанты возьмете, полковник? – усмехнулся Ермаков. – Или в комендантский взвод?

– А! Некогда мне с тобой антимонии разводить! Некогда! – Гуляев вдруг засопел, со злым раздражением толкнул Жорку локтем. – Поехали! Спишь? Гони, гони! Что смотришь?

Ермакова обдало теплым запахом бензина, махнуло по лицу воздухом, темный силуэт «виллиса» запрыгал в глубине лесной дороги, исчез.

Глава 3

Серии ракет всплывали на правой стороне Днепра; черная вода каскадом загоралась под обрывом дальнего берега. Свет ракет опадая клочьями мертвого огня, и тогда отчетливо стучали крупнокалиберные пулеметы. Трассирующие пули веером летели через все пространство реки, вонзались в мокрый песок острова, тюкали в стволы сосен, вспыхивая синими огоньками. Это были разрывные пули. Срезанные ветви сыпались на головы солдат, на повозки, на котлы кухонь.

По несколько раз подряд на правой стороне скрипуче «играли» шестиствольные минометы, низкое небо расцвечивалось огненными хвостами мин. Они рвались с тяжким звоном, засыпая мелкие, зыбкие песчаные окопчики. Немцы били по всему острову – на звук голосов, на случайную вспышку зажигалки, на шум грузовиков, – остров кишел людьми.

Ночью стало холодно, ветрено, сыро. Сосны по-осеннему тягуче гудели, от воды вместе с ветром приносило тошнотворный запах разлагающихся трупов – их прибивало течением.

Но там, возле воды, были и живые люди – постукивал топор, доносились голоса, кто-то ругался грубо, сиплый тенор, не сдерживая души, костерил кого-то:

– Ты чего цигарки жуешь, а? Ты сколько раз собрался умирать, растяпа! А ну бросай!..

И было видно, как при взлете ракет темные силуэты саперов падали в воду, на песок; прекращался стук топора. Изредка тот же сиплый тенор, поминая бога и мать, звал санитаря, и кого-то уносили на плащ-палатке, спотыкаясь в воронках.

А метрах в ста пятидесяти от берега, в воронке от бомбы, прикрытый брезентом, тлел костерок из снарядных ящиков. Было здесь дымно, пахло паром сырых шинелей.

Протянув разомлевшие ноги к жидкому огоньку, вокруг сидело и лежало несколько солдат-артиллеристов. Они молчали, дремотно поглядывали на наводчика Елютина, который, спокойно вытянувшись на снарядных ящиках, тихонько копался перочинным ножом в разобранных ручных часах.

Сержант Кравчук, крепколицый парень лет двадцати пяти, помял над огнем высохшую портянку и со строгим видом, держа ногу на весу, начал обматывать ее. Потом замер, глянул назад.

– Кто это там на голову сел?.. – сурово поинтересовался он. – Глаза где?

– Лузанчиков вроде, – сказал телефонист Грачев, разлепляя глаза, и сонно подул в трубку. – Чего там у вас? Танки гудят?..

Кравчук шевельнул плечами, медленно повернулся. Подносчик снарядов Лузанчиков, сжавшись худенькой фигуркой, привалился к его спине, спал, охватив колени, тонкие до жалости руки подрагивали в ознобе; по детскому, заострившемуся лицу беспокойно бродили тени – отблески мутного сна. Кравчук угрюмо сказал:

– Беда с мальцами. Просто детские ясли.

– А? – спросил во сне Лузанчиков еле слышным голосом.

Кравчук, подумав, неуверенно приподнялся, потянул из-под себя плащ-палатку и с довольным видом накиннул ее на плечи Лузанчикова. Тот, не открывая глаз, дрожа веками, закутался в нее, беспомощно подобрал ноги калачиком.

– Н-да-а, чуток не захлебнулся, – сказал Кравчук, наматывая портянку.

– Плавать не умеет. Намучаешься с ним.

Замковый Деревянко, весь черный, как жук, ехидно крякнул, сделал вспоминающее лицо, и тотчас солдаты повернули к нему головы.

– На Волге до войны катер ходил осводовский. И в рупор без конца орали: «Граждане купающиеся, по причине общего утонутия просьба не заплывать на середину реки!» Туточки

тебе, Кравчук, в рупор не заорут. Можно быть вумным, как вутка, а плавать, как вутюг! Ты сам за бревно двумя руками держался!

– Хватит молотить! – оборвал его Кравчук. – Смехи все!

Деревянко вздохнул, сожалеюще заглянул в котелок.

– Какой смех! Второй раз на голодный желудок будем переправляться, не до смеху! Где старшина? Я б его пустым котелком разочков пять по заливку съездил. Аж звон пошел бы. Как на передовую – его нет!

– Ладно, разберемся, – ответил Кравчук, вставая.

В это время Елютин поднял глаза, прислушался и сказал:

– Летят.

Где-то вверху, над брезентом, возник давящий шорох – шу-шу-шшу-у, – перерастая в тяжелый рев, и близкие разрывы сотрясли землю, подкинуло костер, ящики, брезент взметнулся над краем воронки – и сюда, к костру, горячо дохнула, ворвалась ночь. Кравчук опытно пригнулся. Елютин быстро ладонью накрыл часы, словно птицу поймал с молниеносной ловкостью. Деревянко заинтересованно крутил в руках пустой котелок. Откинув плащ-палатку, Лузанчиков испуганно вскочил, поводя круглыми, непонимающими глазами.

– Бомбят? – растерянно спросил он. – Да?

– Дальнобойная дура шупает, – ответил Кравчук, рванув брезент на воронку. – По квадратам бьет.

В наступившей тишине с тонким свистом над брезентом запоздало пролетел обессиленный осколок, тяжело и мокро шлепнулся в песок.

Тут, шурша ботинками по песку, в воронку скатился огромный солдат, в короткой не по росту шинели, его широкое лицо и незажженная самокрутка в зубах озарились отблесками костра. Он потер озябшие руки, весело, бедово глянул на Елютина, на нахмуренного Кравчука, присел на корточки к огню.

– Греемся, братцы славяне? Дай-ка за пазуху трошки угольков. Тебя, Кравчук, к комбату. И от Шурочки привет!

На щеках Кравчука зацвел смуглый румянец.

– Ты чего развеселился? – с ленивой суровостью спросил он. – Почему с поста ушел, Бобков, что, в деревне на печке?

– Если б на печке с бабешкой, кто бы отказался?

Бобков выхватил уголек из огня, перекатывая его на ладони, прикурил, сосредоточенно почмокал губами.

– Старший лейтенант говорит: иди, мол, погрейся, я все равно, мол, дежурю. На снарядах с Шурочкой сидят. Мечтают вроде.

Кравчук сердито откинул брезент и выкарабкался по скату воронки наружу, в холодную тьму.

Ветер шумел, топтался в кронах сосен. Дуло студено с Днепра. Там по-прежнему, распарывая потемки, взмывали ракеты, освещая черную воду и черное небо.

Поеживаясь от холода (у костра разморило), Кравчук поглядел на красные стаи пуль, которые, обгоняя друг друга, неслись к острову, осуждающе послушал гудение машин, скрип повозок по песку, голоса в темноте и зашагал, натываясь на корневища.

– Старший лейтенант! – вполголоса позвал он, ничего не видя в плотных потемках осенней ночи.

Впереди кто-то простуженно покашлял, и отозвался мягко картавящий голос:

– Вы, Кравчук?

– Я.

– Подойдите, пожалуйста, сюда. Я послал Склера искать старшину. Исчез куда-то старшина. Кухни до сих пор нет.

– Тут ведь стреляют, – насмешливо произнес женский голос.

Кравчук огляделся: на снаряженных ящиках, подняв воротник шинели, сутулился старший лейтенант Кондратьев, сбоку, почти сливаясь с ним, сидела батарейный санинструктор Шурочка. Когда же подошел Кравчук, она не отодвинулась от комбата; он сам немного отстранился, простуженно спросил сквозь кашель:

– Как дела, сержант?

– Что же вы к костерку-то не идете, товарищ старший лейтенант? – Кравчук неодобрительно глянул на освещенное ракетой лицо Шурочки, добавил: – Кашляете... А шинель мокрая небось...

– Все обсушились? – отозвался Кондратьев. – Как Лузанчиков?

– Озяб. Опомниться не может.

– Что от Сухоплюева?

– Танки, говорят, там ходят.

– Это мы и отсюда слышим, – по-прежнему насмешливо сказала Шурочка, точно мстя сержанту за его осуждающий взгляд.

– Да, это я отсюда слышу, – повторил Кондратьев задумчиво. – Гудят.

И в это время с правого берега ударили танки. Спаренные разрывы на кромке острова осветили склоненные фигуры саперов. И снова: выстрел – разрыв.

– Вот они... Прямой наводкой, – сказал Кравчук. – В обороне врыты. И зацепился он как зверь. Что ж, опять купаться будем, товарищ старший лейтенант?

Он спросил это без тени улыбки – Кравчук не умел шутить – и долго глядел на правый берег, ожидая, что скажет Кондратьев. Тот молчал, молчала и Шурочка, и, понимая это молчание по-своему, Кравчук подумал, что до его прихода был между ними иной разговор. Он осуждал командира батареи, но с особенной неприязнью судил он вызывающую эту Шурочку, которая открыто лгнула к Кондратьеву. Он осуждал ее ревниво и хмуро, потому что хорошо знал о прежних отношениях ее и капитана Ермакова. Сержант недолюбливал Кондратьева за его странную манеру отдавать приказания: «прошу вас», «не забудьте», «спасибо» – и порой с чувством неудовольствия и удивления вспоминал те времена, когда капитан Ермаков перед всей батареей называл старшего лейтенанта умницей.

После того как капитан Ермаков отбыл в госпиталь и место его занял командир первого взвода Кондратьев, санинструктор Шурочка стала властно, на виду всей батареи, брать его в руки, командовать им, и Кравчука оскорбляло это бабье вмешательство. До этого он пытался ее защищать: тонкая, с высокой грудью, в ладной, всегда чистой гимнастерке, в хромовых сапожках, она вызывала в нем трудную тоску по женской ласке, но когда теперь Деревянко едко говорил, что она из тех, кто вечером ляжет на одном конце блиндажа, а утром проснется на другом, Кравчук не останавливал его, как прежде.

– Так как же, товарищ старший лейтенант? – переспросил Кравчук, в темноте чувствуя на себе взгляд Шурочки. – Снова купаться будем?

Помолчав, Кондратьев ответил тихо:

– Вряд ли все переправимся нынче ночью. Только что я разговаривал с саперным капитаном. Ругается на чем свет стоит – восемь человек у него за два часа выкосило. Пойдемте. Посмотрим, как там...

Он встал, и Кравчук увидел в мерцании ракет его сутуловатую фигуру в мешковатой шинели с нелепо торчащим воротником.

«Экий слабак, искупался в Днепре – простуду схватил», – неодобрительно подумал никогда в жизни не болевший Кравчук. Шурочка тоже поднялась, гибко, бесшумно, только сапожки скрипнули. Сказала властно:

– Старший лейтенант Кондратьев!

– Что, Шурочка?

– С вашим бронхитом не советую лазить в воду. Вам у костра погреться надо. Портянки просушить. Шинель. Выпить водки с аспирином.

– Что же делать, Шурочка? – виновато ответил Кондратьев. – Старшины нет. Водки нет.

«Что ты, умная такая, раньше обо всем этом молчала?» – сообразил Кравчук и со злостью сказал:

– На войне нет бронхита.

Кондратьев смущенно проговорил:

– Да, да, конечно. Идемте, Кравчук.

– Что же, пойдём! – твердо сказала Шурочка, будто Кондратьев обращался к ней. И пока шли впотьмах меж сосен, пока шагали по острову к берегу, Кравчук неотступно слышал позади тонкий, решительный скрип песка под Шурочкиными сапогами, думал: «Экая сатана-бабенка, ничего не боится, закрутит Кондратьеву голову. И кто это выдумал женщин на войне держать! Одна беда, неразбериха, тоска от них».

Они задержались на берегу, в сырой тьме, пронизываемые ветром. С явным недоверием прислушались к короткому затишью на той стороне – странно молчали пулеметы в непроницаемо сгустившейся ночи, оттуда, из темноты, веяло сладковатой гнильцой трупов.

– Вот, – прошептал Кравчук. – Притихли...

– Ужин, – ответил Кондратьев, сдерживая кашель. – Немцы пунктуальны...

Потом донесся спешащий стук топора, голоса вблизи воды, отрывистые команды: «Шевелись»; «По-быстрому!» Там, внизу, ползали саперы вокруг сколачиваемого парома, и Кондратьев окликнул:

– Капитан, капитан!

– Кто там? Эй! Кто там? – отозвался из потемок прокуренный начальственный баритон. – Давай сюда!

Кондратьев не успел ответить. Над Днепром с шипеньем повисли гроздь ракеты, заработали пулеметы, смешались зеленые и белые светя в небе, смешались трассы, конусом несясь к парому, и весь берег, фигурки саперов озадачились, проступили из ночи, как на желтом листе бумаги. Гулко сдваивая, ударили танки. Слева возник широкий дымящийся синий столб, скользнул по берегу и уперся в какую-то лодчонку, подле которой мигом рассыпались люди.

– Ложись!

Они упали на мокрый песок, в свежую щепу у самого парома, над головой взвизгивали траассирующие пули.

– Разрывные, – пояснил Кравчук и увидел: к лежавшему впереди Кондратьеву подползает от парома человек в офицерской фуражке.

– Кто такие? – спросил, преодолевая одышку, начальственный баритон.

– Как дела с паромом? – ответил Кондратьев.

– А вы не видите? Ей-богу! Ходите, демаскируете. Людей у меня косит. Дайте солдат. Человек пять-шесть. Пришлите людей... И дуйте отсюда.

– Сколько нужно людей?

– Десять человек.

– Много просите, – мягко возразил Кондратьев, и Кравчук, услышав, подумал облегченно: «Вроде правильно...».

– Давай, давай отсюда, артиллеристы... Видишь, прожектора появились... Давай! Не демаскируй!

Они ползком выбрались из района саперов и молча двинулись в глубь острова. Кондратьев покашливал. Шурочка шла рядом с ним. Кравчук спросил:

– Кого пошлем?

– Подумаем, – невнятно ответил Кондратьев.

Впереди слышалось фыркание лошади, легкий металлический звук; под деревьями, низко над землей, затлели угольки, дохнуло теплым запахом подгоревшей пшенной каши.

– Кто идет? – раздался неподалеку полувеселый окрик.

– Это вы, Скляр? – спросил Кондратьев. – Что, нашли старшину?

– Товарищ старший лейтенант, вы только, пожалуйста, не удивляйтесь. Вы не поверите своим ушам! – торопясь, оживленно заговорил невидимый в темноте Скляр. – Вы не поверите своим ушам, кого я привез от старшины! Он был у старшины...

– Что, что? – не понял Кондратьев. – О чем вы?

– Я вам не скажу, вы сами посмотрите! – восторженно воскликнул Скляр. – Это почти военная тайна...

Кравчуку не понравился такой вольный оборот речи.

– Что такое? – грозно повысил голос Кравчук. – Почему так со старшим лейтенантом?

– Я извиняюсь! Товарищ старший лейтенант... товарищ сержант, вы не поверите своим ушам! Вы сами посмотрите, – произнес Скляр секретным шепотом. – Там, в воронке!..

Они подошли к бомбовой воронке: снизу доносился говор. Кондратьев откинул брезент, и все трое соскользнули вниз, к костру, в дым, в тепло, в запах парных шинелей.

Возле огня в окружении солдат и потного растерянного старшины Цыгичко сидел на ящике капитан Ермаков, свежевыбритый, веселый, в расстегнутой на груди шинели, ел из котелка горячую кашу, дул на ложку, глядя на вошедших темными улыбающимися глазами. И обрадованный Кравчук мгновенно успел заметить, как Шурочка прикусила белыми зубами губу, как золотая пуговка на высокой ее груди всколыхнулась, как у Кондратьева стало беззащитным лицо.

– Сережка!.. – воскликнул Ермаков, швырнул со звоном ложку в котелок и, оттолкнув умиленно заморгавшего старшину, встал навстречу. – Здравствуй, Сережка! Здравствуй, Шура! Здорово, брат Кравчук!

Он сильно обнял Кондратьева, потом Кравчука, шутливо обнял и Шуру, звонко поцеловал ее в щеку и засмеялся.

– А ну-ка садись все! Старшина, котелки да горячую кашу! Да пожирней у меня! Мигом!

– Слушаюсь, товарищ капитан!

Старшина Цыгичко, пожилой человек с острым хрящеватым носом и пухлым откормленным лицом не вылез – выпорхнул из-под брезента, струйка песка зашуршала, скатываясь к сапогам Шурочки, а Кондратьев опустился на угол ящика, проговорил взволнованно:

– Неожиданно ты. Из госпиталя? А я вот за тебя командую...

– Очень рад, – сказал Ермаков. – Слушай, по дороге узнал, что у тебя четыре орудия на той стороне, а здесь ребята рассказали, что только два... Значит, половины батареи нет? Объясни, пожалуйста.

Кондратьев вздохнул, положил руки на колени и сконфуженно стал говорить, что только два орудия удалось переправить на правый берег: одно прямым попаданием разбило на пароме, на середине Днепра, плоты затонули; четвертое орудие еще не вернулось из армейских мастерских, оно там второй день; вчера убило лейтенанта Григорьева, ранило сержанта Соляника, наводчика Дерябина, остальные добрались сюда вплавь, с ранеными. Это было прошлой ночью...

Ермаков ковырнул ложкой дымящуюся кашу, бросил ложку в котелок.

– Значит, фактически батареи нет?

– Да, я сейчас от саперов. Просят людей. Бесконечные потери у них.

– Сколько же они просят людей?

Кондратьев закашлялся, отвел лицо, смущенно стряхивая слезы, выдавленные бухающим, простудным кашлем.

– Шесть человек.

По острову пронеслись скачущие разрывы – вдоль берега, ближе, ближе, – брезент упруго вогнулся. Все сидевшие в воронке напряженно начали есть, никто не глядел на Ермакова, на Кондратьева, все ожидали: шесть человек, значит, идти сейчас от этого костра туда, под огонь, в холодную воду, чтобы выполнять чужую работу саперов.

– На чужой шее хотят в рай съездить, – сказал Деревянко безразлично.

Лузанчиков, закутавшись в кравчуковскую плащ-палатку, блестя глазами, придвинулся к костру, Елютин с недоверчивым видом поскреб пустой котелок, перевернул его, на дно невозмутимо положил часы. И придержал их рукой, потому что часы, позванивая, заплясали от взрывов. Бобков преспокойно вытирал соломой ложку, посматривал на хмурого Кравчука, из-за спины его вопросительно выглядывал телефонист.

Разрывы скакали по острову. Один из них тяжело встряхнул воздух над брезентом.

Тогда в воронку, расплескивая на добротную офицерскую шинель кашу из котелков, шумно вкатился на ягодицах старшина Цыгичко, фальшиво посмеиваясь, сообщил:

– Як саданет коло кухни, чтобы его дьявол! Коней начисто побьет! А прожектором по берегу... да пулеметы... Чешет, як сатана!

Он возбужденно раздувал хрящеватый нос, ставя котелки, и почему-то искательно улыбнулся Шурочке. А она, напряженно следя за колебанием костра, проговорила с насмешливой дерзостью:

– Все снаряды рвутся около кухни. Давно известно! Стреляют у нас, а снаряды рвутся у вас.

Но в это мгновение никто не поддержал ее. Старшина осторожно вздохнул через ноздри, отошел в тень, аккуратно соскребывая щепочкой кашу на шинели.

– Шесть человек? – переспросил Ермаков и посмотрел на Кондратьева почти нежно. – Ни одного человека. Куда, к черту, вы годны сейчас? Наворачивай кашу.

– Я обещал саперам, – возразил Кондратьев, от волнения картавя сильнее обычного, и наклонился к огню, стиснув на коленях худые руки. – Видел, что происходит на острове? Саперы просто не успевают...

Ермаков носком сапога толкнул дощечку в костер, отчего зазвенела начищенная шпора, громко позвал:

– Старшина! – И когда Цыгичко со сладким ожиданием оборотил к нему сытое лицо свое, спокойно спросил: – Сколько раз за мое отсутствие опаздывали в батарею с кухней?

– Товарищ капитан!.. Як же можно?

– Полагаю, не меньше шести раз. Таким образом: отберите пять человек ездовых, вы – шестой. И в распоряжение саперов. Повара Караяна оставьте за себя.

Все.

В быстрых, ищущих опору пальцах старшины сломалась щепочка, которой он чистил шинель, выбритые щеки задрожали.

– Товарищ капитан...

Ермаков внимательно оглядел его с ног до головы, спросил тоном некоторого беспокойства:

– Много ли у вас еще годных шинелей в обозе, Цыгичко?

– Нету, товарищ капитан... Як же можно?..

– На самогон меняете? Или на сало? У вас было двенадцать шинелей в запасе. – Ермаков бесцеремонно повернул мгновенно вспотевшего старшину на свет, опять осмотрел его. – Что ж, прекрасная офицерская шинель. Отлично сшита. Снимите, она вам мала. Вы растолстели, Цыгичко. У вас нефронтовой вид. – И обернулся к Кондратьеву: – Снимите-ка свою шинель. И поменяйтесь. Как вы раньше не догадались, Цыгичко? Люди ходят в мокрых шинелях, а вы и ухом не шевельнете.

Цыгичко задвигался, не сразу найдя пуговицы, начал торопливо расстегивать шинель, а Кондратьев, с красными пятнами на щеках, невнятно проговорил:

– Не стоит... Не надо это... Зачем?

Пальцы Цыгичко замедлили скольжение по пуговицам. Заметив это, Ермаков чуть-чуть поднял голос:

– Снять шинель!

Старшина, суетливо ежась, как голый в бане, снял шинель, отстегнул погоны, и Кондратьев неловко накиннул ее на влажную гимнастерку.

– Марш! – сказал Ермаков старшине. – И через десять минут с людьми к саперам. Думаю, ясно. – Он улыбнулся молчавшей Шурочке. – Пошли!

«Хозяин приехал», – удовлетворенно подумал строго наблюдавший все это сержант Кравчук.

И понимающе посмотрел в спину Шурочке, которая вслед за Ермаковым покорно выбиралась из воронки.

– Ты ждала меня, Шура?

– Я? Да, наверно, ждала.

– Почему говоришь так холодно?

– А ты? Неужели тебе женщин не хватало там, в госпитале? Красивый, ордена... Там любят фронтовиков... Ну, что же ты молчишь? Так сразу и замолчал...

– Шура! Я очень скучал...

– Скуча-ал? Ну кто я тебе? Полевая походная жена... Любовница. На срок войны...

– Ты обо всем этом подумала, когда меня не было здесь?

– А ты там целовал других женщин и не думал, конечно, об этом. Ах, ты соскучился? Ты так соскучился, что даже письмеца ни одного не прислал?

– Госпиталь перебрасывали с места на место. Адрес менялся. Ты сама знаешь.

– Я знаю, что тебе нужно от меня...

– Замолчи, Шура!

– Вот видишь, «замолчи»! Что ж, я ведь тоже солдат. Слушаюсь.

– Прости.

Он сказал это и услышал, как Шура ненужно засмеялась. Они остановились шагах в тридцати от воронки. Ветер, колыхая во тьме голоса все прибывавших на остров солдат, порой приносил струю тошнотворного запаха разлагающихся убитых лошадей, с сухим шорохом ворошил листья. Они сыпались, отрываясь от мотающихся на ветру ветвей, цеплялись за шинель, – по острову вольно гулял октябрь. Впотьмах смутно белело Шурино лицо, угадывались тонкие полоски бровей, но ему был неприятен этот ее ненужный смех, ее вызывающий, горечью зазвевший голос. Ермаков сказал:

– Что случилось, Шура?

Он притянул ее за несгибающуюся спину, нашел холодные губы, с жадной нежностью, до боли, почувствовав свежую скользкость ее зубов. Она отвечала ему слабым равнодушным движением губ, тогда он легонько, раздраженно оттолкнул ее от себя.

– Ты забыла меня? – И, помолчав, повторил: – Забыла?

Она оставалась недвижимой.

– Нет...

– Что «нет»?

– Нет, – сказала она упрямо, и странный звук, похожий на сдавленный глоток, вырвался из ее горла.

– Шура! В чем дело? – Он взял ее за плечи, несильно потряхнул.

Она все молчала. Справа, метрах в пятнадцати, ломясь через кусты и переговариваясь, прошла группа солдат к Днепру, один сказал: «К утру успеть бы...».

Нетерпеливо переждав, он опять обнял ее, приблизил ее лицо к своему, увидел, как темные полоски бровей горько, бессильно вздрогнули, и, откинув голову, кусая губы, она беззвучно, прерывисто, стараясь сдерживаться, заплакала. Она словно рыдала в себя, без слез.

– Ну что, что? – с жалостью спросил он, прижимая ее, вздрагивающую, к себе.

– Тебя убьют, – выдавила она. – Убьют. Такого...

– Что? – Он засмеялся. – Прекрати слезы! Глупо, черт возьми! Что за панихида?

Он нашел ее рот, а она резко отклонила голову, вырвалась и, отступая от него, прислонилась спиной к сосне; оттуда сказала злым голосом:

– Не надо. Не хочу. Ничего не надо. Мы с тобой четыре месяца. Фронтная любовница с ребенком?.. Не хочу! И меня могут убить с ребенком...

– Какой ребенок?

– Он может быть.

– Он, может быть, есть? – тихо спросил Ермаков, подходя к ней. – Что уж там «может быть»? Есть?

– Нет, – ответила она и медленно покачала головой. – Нет. И не будет. От тебя не будет.

– А я бы хотел. – Он улыбнулся. – Интересно, какая ты мать. И жена... Ну, хватит слез. В госпитале я тебе не изменял. Умирать не собираюсь. Еще тебя недоцеловал. Поцелуй меня.

Шура стояла, прислонясь затылком к сосне.

– Ну, поцелуй же, – настойчиво попросил он. – Я очень соскучился. Вот так обними (он положил ее безжизненные руки к себе на плечи), прижмись и поцелуй!

– Приказываешь? Да? – безразличным голосом спросила она, пытаясь освободить руки, однако он, не отпуская, уверенно обвил их вокруг своей шеи.

– Глупости, Шура! Ведь я еще не командир батареи. Пока Кондратьев.

– А уже всем приказывал! Как ты любишь командовать!

– Все же это моя батарея. Честное слово, укокошит ни с того ни с сего, как ты напророчила, и не придется целовать тебя...

Шура со всхлипом вздохнула, вдруг тихо подалась к нему, слабо придавилась грудью к его груди, подняла лицо.

Он крепко обнял ее, ставшую привычно податливой.

«Опять, все опять началось», – подумала Шура с тоской, когда они шли к батарее.

Ермаков говорил ей устало:

– Я рвался сюда. К тебе. Неужели не веришь?

«Нет, я не верю, – думала Шура, – но я виновата, виновата сама... Ему нужно оправдывать ненужную эту любовь, в которую он тоже не верит... Все временно, все ненадежно... Он рвался сюда? Нет, не я тянула его. Он относится ко мне как вообще к любой женщине, ни разу не сказал серьезно, что любит. Только однажды сказал, что самое лучшее, что создала природа, – это женщина... мать... жена... Жена!.. Полевая, походная... А если ребенок? Здесь ребенок?» Злые, внезапные слезы подступили к ее горлу, сдавили дыхание.

А он в это время, сильно прижимая ее плечо к своему, спросил обеспокоенно:

– Ну, почему молчишь?

Тогда она ответила, сглотнув слезы:

– В батарею пришли.

В отдаленном огне ракет возникли темневшие между деревьями снарядные ящики. Силуэт часового не пошевелился, когда под ногами Бориса и Шуры зашуршали листья.

– Там, у ящиков! Часовой! – окликнул Ермаков. – Заснули? Унесут в мешке к чертовой матери за Днепр!

Круглая фигура часового затопталась, задвигалась, и тут же ответил обнадеживающий голос Скляра:

– Я не сплю, нет. Я слушаю, как ветер свистит в кончике моего штыка. Все в порядке.

– Так уж все в порядке? – сказал Ермаков, поглядев на скользкий по кромке берега голубой луч прожектора. – Немцы жизни не дают, а ты – «в порядке»...

– Так точно. Вчера искупали. Нас и пехоту. А пехота вся на этот берег – назад. Как мухи на воду. Все обратно, на остров... А если опять искупают?

– Позови Кондратьева, – приказал Ермаков.

– А он старшину с ездовыми к саперам повел.

– Узнаю интеллигента. Не мог послать Кравчука, – насмешливо сказал Ермаков. – Пошли, Шура, к ним.

– Куда? – Шура стояла, опустил подбородок в воротник шинели.

– К саперам.

– Не надо этого. Не надо! – неожиданно страстно попросила она. – Зачем тебе?

Он посмотрел на нее удивленно. Никогда раньше она не вмешивалась в его дела; просто он не допустил бы, чтобы она как-то влияла на его поступки. Но почему-то сейчас, после близости с ней, после ее приглушенных слез, к которым он не привык, которые были неприятны ему, он не мог рассердиться на нее. И он ответил полушутливо, не заботясь, что подумает об этом Скляр:

– Война тем война, что везде стреляют. Значит, ты не разлюбила меня, Шура? – нагнулся, отцепил шпоры, небрежно кинул их на снарядный ящик. – Спрячь, Скляр.

– Это уж верно, демаскируют, – согласился Скляр. – Ни к чему. А мне как, товарищ капитан? К вам опять в ординарцы? Или как?

С дороги, гудевшей сквозь ветер отдаленным движением, голосами, внезапно вспыхнули, приближаясь, покачиваясь на стволах сосен, полосы света.

Скляр сорвался с места, суматошно крича:

– Стой! Гаси свет! Куда прешь? Не видишь – батарея? Гаси фары, говорят!

Фары погасли.

– А мне батарею и не нужно, не голоси, ради Бога! Вконец испугал, колени трясутся. Мне капитана Ермакова.

Низкий «виллис», врезаясь в кусты, затормозил, и по невозмутимому голосу, затем по легким шагам Ермаков узнал Витьковского.

– Ты? Что привез?

– Я, – ответил Жорка, весь приятно пропахший бензином, и что-то сунул в руку капитана. – Скушайте галетку. Великолепная, немецкая. Вас срочно в штаб дивизии. Иверзев вызывает...

– Иверзев?

– Ага. – Жорка потянул Ермакова за рукав, дыша мятной галеткой, зашептал: – Тут вроде форсировать не будут. Что-то затевается. Вроде Володи. Вас – срочно. Скушайте галетку-то...

– Галетку? – задумчиво спросил Ермаков. – А много у тебя этих галеток?

Жорка обрадованно ответил:

– Да полмешка, должно. В машине с запчастями вожу. Чтоб полковник не заметил. Он что увидит – р-раз! – и за борт. И чертей на голову. В Сумах на немецких складах взял.

– Давай сюда, аристократ. Выкладывай мешок на ящики. Скляр, отнеси ребятам конфискованное...

Он подошел к Шуре, пристально взглянул в блеющее лицо и не увидел, а угадал затаенную не то тревогу, не то радость по выгнутым ее бровям.

– Что? – спросила она шепотом.

– Еду. Передай Кондратьеву. И пусть не щеголяет интеллигентностью. – И чересчур поспешно, холодно поцеловал, едва прикоснулся к губам ее. Она чувствовала тающий холодок его поцелуя и ревниво и мстительно говорила самой себе: «Уже не нужна ему. Нет, не нужна».

А он, садясь в «виллис», спросил:

– Может, со мной поедешь?

– Нет, Борис. Нет...

– Ограбили! – сказал Жорка и засмеялся.

«Виллис» тронулся, затрещали кусты. Шура, опершись рукой на снарядный ящик, смотрела в потемки, где трассирующей пулей стремительно уносился рубиновый огонек машины, и с тоскливой горечью думала: «Ограбили. Это он обо мне сказал».

Глава 4

В этом маленьком селе тылы дивизии смешались с полковыми тылами, – все было забито штабными машинами, санитарными и хозяйственными повозками, дымящими кухнями, распространявшими в осеннем воздухе запах теплого варева, заседланными лошадьми полковой разведки, дивизионных связных и ординарцев. Все это в три часа ночи не спало и жило особым, лихорадочно возбужденной жизнью, какая бывает обычно во время внезапно прекратившегося наступления.

Круто объезжая тяжелые тягачи, прицепленные к ним орудия, темные, замаскированные еловыми ветвями танки, Жорка вывел наконец машину на середину улицы, повернул в заросший наглухо переулок. «Виллис» вкатил под деревья, как в шалаш; сквозь ветви уютно светились красные щели ставен. Жорка, соскакивая на дорогу, сказал:

– Полковник сперва к себе велел завезти. Свои, свои в доску! – отозвался он весело на окрик часового у крыльца. – Чего голосишь – людей пугаешь?

Ермаков взбежал по ступеням и, разминая ноги, вошел в первую половину хаты, прищурился после тьмы. Пахнуло каленым запахом семечек, хлебом. На столе в полный огонь горела трехлинейная керосиновая лампа с вычищенным стеклом, освещая аккуратно выбеленную комнату, просторную печь, вышитые рушники под тускло теплившимися образами в углу. Сияя изумленной радостью, от стола услужливо привскочил, оправляя гимнастерку, полковой писарь, и начищенная до серебристого мерцания медаль «За боевые заслуги» мотнулась на его груди.

– Товарищ капитан! Здравия желаю! – взволнованной хрипотцой пропел он, вытянулся, а правую, измазанную чернилами ладошку суетливо вытер о бок. – Из госпиталя? К нам?

– Привет, Вася! Жив? – ответил Ермаков и не без интереса заметил возле печи незнакомого солдата, который позевывал и с задумчивым видом поигрывал новеньким парабеллумом. Крепко сбитый в плечах, был он в офицерских яловых сапогах, в суконной гимнастерке, на ремне лакированно блестела расстегнутая немецкая кобура.

– Разведчик? – спросил Ермаков, слыша приглушенные голоса из другой половины. – «Языков» привели?

– Точно. – Солдат подбросил парабеллум, втокнул его в кобуру на левом бедре: так носили пистолеты немцы.

– Полковник с ними разговаривает, – таинственно шепнул Вася. – Долго они чего-то...

Ермаков вошел в тот момент, когда полковник Гуляев, очевидно, заканчивал допрос пленных. Он сидел за столом, утомленный, грузный, со вспухшей шеей, заклеенной латками пластыря, повернувшись всем телом к узколицему лейтенанту-переводчику с косыми щеголеватыми бачками. Увидев на пороге Ермакова, оборвал речь на полуслове, в усталых глазах толкнулось беспокойство, сказал:

– Садись, капитан.

При виде незнакомого офицера высокий, в коротенькой куртке немец вскочил, разогнувшись пружинной, по-уставному вскинул юношеский, раздвоенный ямочкой подбородок. Другой немец не пошевелился на табурете; уже лысеющий со лба, сухонький, желтый, будто личинка, он, чудилось, ссутулясь, дремал; его ноги были толсто забинтованы, напоминая тряпичные куклы.

На столе с гудением ярко горели две артиллерийские гильзы, заправленные бензином.

Ермаков присел на подоконник, и высокий молодой немец тотчас же сел, задвигался на табурете, нервно пригладил рукой волосы, вопросительно озираясь на Ермакова.

– Сегодня взяли, – сказал полковник вполголоса. – Пулеметчики. Вот этот щупленький, раненый, когда брали, хотел себя прикончить. Ефрейтор... между прочим, рабочий типографии. Киндер, киндер, трое киндер у него. А этот молодой – слабак.

– Ja, ja¹, – с улыбкой, предупреждаясь постучал себя в грудь молодой и показал палец, давая понять, что у него тоже есть ребенок, а лысеющий сутулый слепо посмотрел на его палец и равнодушно пожевал губами.

– Время идет, – недовольно сказал полковник переводчику. – Спросите этого еще раз... где у них резервы? Расспросите подробнее. На что рассчитывают?.. Молодого не спрашивай, этот что угодно наплетет... щупленького...

Переводчик торопливо и отчетливо заговорил, обращаясь к щупленькому; немец неподвижно, как слепой, посмотрел ему в губы, приподнял одну ногу-куколку, переставил ее и начал отвечать замедленно, ровным, въедающимся голосом. Переводчик забежал карандашом по бумаге, упредительно наклонился к Гуляеву:

– Оборона вглубь на несколько километров. В несколько эшелонов. На флангах танки. Артиллерия. Это Восточный вал. Он закрывает путь к Днепрову. Все офицеры и солдаты это знают. Приказ по армиям – ни шагу назад. За отступление – расстрел. Здесь люфтваффе. Они закончат здесь победоносную войну. Разобьют русские армии и перейдут в наступление. Днепр – это перелом войны. До Днепра немецкая армия отступала. Это был тактический ход. Сохранить силы... Причем здесь находятся и эсэсовские части. Они стреляют до последнего патрона. Потому что мы их не пощадим. Как, впрочем, не пощадим и немцев пленных. Мы им устроим телефон...

– Скажи на милость, – произнес Гуляев, рассеянно барабанив пальцами по столу. – Ни шагу назад. А спроси-ка его, что такое телефон?

Опять ровный въедающийся голос, и опять карандаш переводчика забежал по бумаге.

– Им двоим, ему и вот этому молодому дураку, распорют животы, размотают кишки и свяжут их узлом. За то, что они зверствовали на Украине. Но это пропаганда. Война не идет без жестокости. Это знает русский полковник.

Когда переводчик договорил, щупленький снова переставил свою ногу-куколку, а лицо молодого окаменело, розовые губы растерянно-жалко растянулись, лоб и круглый подбородок покрылись испариной. Ермаков усмехнулся; полковник Гуляев сильнее забарабанил по столу, пристально из-под припухлых век разглядывая щупленького.

– Скажи ему, – строго произнес полковник, – что этот телефон устраивали эсэсовцы русским пленным под Гомелем. Кавардак у него в башке! И потом скажи ему... Как же так... он, рабочий, пролетарий... со спокойной душой воюет против русских рабочих... Знает он, что такое международный пролетариат? А? Спроси его... Как оправдывает он себя, что как самый закоренелый эсэсовец воюет?.. Ведь он все же рабочий?

Переводчик глубокомысленно собрал кожу на лбу и, так же как полковник, отчетливым, строгим голосом заговорил с щупленьким. Глаза немца, глаза больной птицы, подернутые пленкой равнодушия, неизбывной усталости, на миг вроде очистились, пропустили в себя смысл заданного вопроса, он ответил необычно быстро, почти брезгливо. И переводчик не совсем уверенно перевел:

– Когда после Версальского мира Германия голодала, международный пролетариат не помог ей. Германии нужен был хлеб, а не слова.

– Хватит! Достаточно!

Гуляев поднялся, и, как бы все уяснив, вскочил молодой немец, выставил круглый подбородок, вытянулся, замирая; тогда щупленький, как по команде, вздернув свою маленькую лысеющую голову, коротко и зло сказал что-то сквозь зубы этому молодому.

¹ Да, да.

– Что он? – нахмурился Гуляев.

– Он сказал: спокойно, кошачье дерьмо, ты солдат! – неохотно ответил переводчик.

– Легостаев! Увезти. В штаб дивизии! – крикнул Гуляев.

В ту же минуту молодой немец покорно стал на колени перед шупленьким, нагнул крепкую шею, бережно, словно ощупывая, где не больно, взял ефрейтора за талию и легко посадил его к себе на плечи, ноги-куколки повисли на его груди. Раненый немец передернулся от боли, сжал рот, но ни одного звука не издал.

– Давай, – сказал Легостаев, раскрыв дверь.

Пригибаясь, чтобы ефрейтор не задел за притолоку, молодой немец вынес его из комнаты, и Легостаев закрыл за ними дверь. Стало тихо. В раздумье Гуляев медленно складывал лежащую на столе карту.

– Что скажешь, капитан? Матерые сидят против нас? Шапками не закидаешь! На «ура» не возьмешь! А?

– Интереснейший тип этот ефрейтор, – проговорил Ермаков.

– Вы скажете, товарищ капитан, – робко возразил переводчик, опустив глаза. – Это убежденный гитлеровец. Что же в нем интересного? Странно...

Ермаков презрительно смерил переводчика взглядом.

– А я и не надеялся увидеть в этом ефрейторе сторонника русских.

– Прекратите бесполезные разговоры! – прервал Гуляев, рывком надевая шинель. – Вы свободны, лейтенант. Капитан Ермаков, оставайтесь. Тебя вызвал не я, – сказал он, когда переводчик вышел. – Тебя вызывают в штаб дивизии.

– Зачем?

Гуляев отвел глаза, озабоченно ответил:

– Некогда. Пошли... Иверзев не простит опоздания.

В одной из нескольких хат, где размещался штаб дивизии, светло, чисто, подметено и среди сидевших вдоль стен офицеров та подчеркнутая и почтительная тишина, которая в военной среде всегда означает, что рядом присутствует высшее начальство: здесь педантично выбритые адъютанты и офицеры штаба двигались бесшумно, тут привыкли говорить негромкими голосами, команды не повторялись два раза – здесь мозг дивизии. До последнего ранения Ермакову приходилось бывать в штабе дивизии при прежнем генерале Остроухове, и каждый раз, уезжая в батарею из этой полутишины, напоминавшей мудрое спокойствие забытых московских читален, он увозил с собой тягостное чувство неудовлетворенности, словно кто-то напоминал ему, что война – это не его профессия, что звание капитана, ордена, так легко доставшиеся ему, все чужое, и, может быть, он отдал бы это все за одну лекцию по высшей математике. Испытывал он это чувство потому, что давно и легко свыкся с офицерской формой, казалось порой, что воевал целую жизнь, а молва о нем как о смелом до дерзости офицере оставляла ему возможность относительной свободы: не тянуться в тылах, подчеркивая уважение к звездочкам, перед штабными офицерами, что очень не нравилось щепетильно-осмотрительному в вопросах субординации полковнику Гуляеву, говорить открыто, смеяться тогда, когда хотелось смеяться, то есть вести себя так, как может вести офицер, знающий себе цену и привыкший к откровенности отношений на передовых позициях.

Когда Ермаков вместе с полковником Гуляевым вошел в наполненную офицерами комнату, все, видимо, были в сборе, многие приветливо закивали Борису, и он увидел знакомых командиров стрелковых батальонов, усталых, плохо выбритых, в несвежих гимнастерках, и ответно подмигнул, улыбнулся им, но тотчас сделал притворно официальное лицо, заслышав густой, уважительно пониженный голос Гуляева, докладывающего полковнику Иверзеву о прибытии. Гуляев сделал шаг в сторону, двумя руками одернул китель на выступавшем животе, насупился, кашлянул в ладонь, сел к столу, где в зыбком папиросном дыму белели лица.

Соблюдая субординацию, Ермаков должен был докладывать за полковником, однако не успел. Командир дивизии Иверзев, румяный, светловолосый, с синими холодными глазами, одетый в безупречно сшитый стального цвета китель, твердо сказал сочным голосом:

– Опаздываете, капитан Ермаков! Причины?

– Я только что с Днепра, товарищ полковник, – ответил Ермаков, уловив предупреждающий взгляд Гуляева.

– Надо успевать, капитан! Успевать! Садитесь!

С Иверзевым он встречался впервые; был тот прислан в его отсутствие, кажется, из запасного офицерского полка на замену старого, неторопливого генерала Остроухова, чрезвычайно осторожного в принимаемых решениях. За столом Ермаков увидел заместителя командира дивизии по политчасти полковника Алексева. Тот сидел, трогая высокий лоб, гладко зачесанные назад редкие волосы; худое интеллигентное лицо было свежо, словно недавно умыто, умные глаза мягко и знакомо щурились. Ермаков кивнул замполиту, и сейчас же подполковник Савельев, начальник штаба дивизии, человек тихий, больной сердцем, вынул из зубов незажженную трубку и тоже закивал сидящей головой, явно обрадованный его прибытием.

По всем этим знакам внимания Ермаков мгновенно понял, что в штабе был разговор о нем, и тут же прочно убедился в этом, услышав сбоку шепот:

– Приветствую, капитан! Как говорят, с корабля на бал?

Это был Максимов, командир стрелкового батальона, офицер средних лет; добродушный, ласковый взгляд из-под золотистых ресниц светился девичьей озорной улыбкой; она весело брызгала и с его щек, всегда вызывая ответную улыбку.

– Похоже, – ответил Ермаков. – А что?

Максимов положил ему руку на колено, показывая бровями на Иверзева, сказал шепотом:

– Потом, потом...

– Прошу внимания!

Полковник Иверзев, высокий, плотный, ясно глядел перед собой; толстый карандаш был зажат в его маленьком крепком кулаке, кулак без стука опустился на карту, невольно привлекая к себе внимание офицеров. И Ермаков, вспомнив мягкую руку старика Остроухова, почему-то подумал, что кулачок этот беспощаден, властолюбив, неподатлив... Иверзев заговорил:

– Товарищи офицеры! Позавчера два передовых батальона полковника Гуляева подошли к Днепру, пытались форсировать его. Все это, как вам известно, решающих результативных последствий не имело. – Синие глаза Иверзева бегло коснулись нахмуренного лица Гуляева. – Огнем танков, артиллерии, пулеметным огнем батальоны были рассеяны по воде, вынуждены были занять прежнюю позицию на острове. – Острие карандаша ткнулось в карту. – За исключением двух, только двух неполных стрелковых взводов и одного орудия полковой батареи, сумевших переправиться на правый берег.

«Почему одно орудие? Откуда эти сведения?» Ермаков пожал плечами, и тотчас Иверзев перевел на него взгляд – мимолетно синий, холодный свет почувствовал Ермаков на своем лице. Полковник продолжал:

– Все попытки двух батальонов форсировать Днепр вчера ночью закончились неудачей. Наши батальоны столкнулись с глубоко и тщательно подготовленной эшелонированной немецкой обороной, весьма широкой по фронту, как известно теперь. – Иверзев снова опустил сжатый кулак на карту, губы его стали жесткими. – Наша дивизия южнее города Днепрова... Но мы сдерживаем правого и левого соседа, двое суток топчемся на месте.

Иверзев отбросил карандаш, провел пальцами по белейшей полоске подворотничка, видимо, давившего горло, четко повторил:

– Двое суток! Вчера дивизия получила пополнение боеприпасами, кроме того, нам приданы танки...

«Так вот оно что! – подумал Ермаков, вспомнив горящую станцию, и поймал тревожно ускользающий взгляд полковника Гуляева. – Что он?»

– Задача дивизии следующая! – звучал голос Иверзева. – Два пополненных батальона восьмьдесят пятого стрелкового полка сегодня к рассвету, а именно к пяти часам утра, сосредоточиваются: в районе деревни Золотушино – первый батальон майора Бульбанюка; второй батальон капитана Максимова – в районе лесничества. Первому батальону придаются два орудия под командованием капитана Ермакова, второму – батарея сорокапятимиллиметровых пушек лейтенанта Жарова... Кроме того, батарея восьмидесятидвухмиллиметровых минометов повзводно придается батальонам.

«Так! Значит, я поддерживаю Бульбанюка. Но какими двумя орудиями?» – подумал Ермаков, поискал глазами и нашел в углу комнаты крупно скроенного майора Бульбанюка, немолодого, с заметными оспинками на непроницаемом лице. Не подымая головы, он неторопливо делал пометки на карте, разложив ее на коленях; из-под планшетки видны были давно не чищенные, в ошметках грязи, стоптанные сапоги. «Но какими двумя орудиями? Где они?»

– Цель батальонов: форсировать Днепр на правом фланге обороны, где разведка нащупала разрывы, вклиниться в оборону, выйти в тыл, занять и удерживать плацдарм в районе Ново-Михайловки – первому батальону, второму – в районе Белохатки и тем самым отвлечь на себя внимание немцев. К этому времени вся дивизия будет сосредоточена в районе острова, готовая как бы к прыжку. – Иверзев ударил ребром ладони по карте. – Как только батальоны, захватив плацдармы, заставят немцев оттянуть часть войск с фронтальных позиций, дивизия нанесет удар по фронту с задачей занять широкий плацдарм на правобережье, южнее города Днепрова. Завязав бой в районе Ново-Михайловки и Белохатки, батальоны дают знать по радиации: «Дайте огня», в случае хорошей видимости – четыре красные ракеты. По этому сигналу дивизия всеми орудийными стволами поддерживает батальоны, затем открывает огонь по немецкой обороне и переходит в наступление, соединяется с батальонами. Такова задача дивизии. Вопросы?

Уперев кулак в стол, Иверзев, ожидая вопросов, долго в молчании смотрел на притихших офицеров. Но никто вопросов не задавал, делали вид, что внимательно изучают карты на планшетках, – каждый из этих давно воевавших пехотных и артиллерийских офицеров хорошо понимал: то, что легко и, казалось, просто начертается в штабах, нестерпимо трудно оборачивается в деле.

Сдержанный полковник Алексеев, одной рукой прикрыв подбородок, другой вертел массивный серебряный портсигар, и блики света, отскакивая от полированной крышки, скользили по залысинам над его высоким лбом. Подполковник Савельев, поглаживая кончик пустой трубки, сосредоточенно посасывал ее; оттененные синевой щеки его ввалились. Капитан Максимов, неопределенно улыбаясь, чистил спичкой ногти, взглядывал на ничего не выражающую спину Бульбанюка.

Было тихо.

Полковник Гуляев, наклонив крупную голову, так что заметна была багровая шея с заплатками пластыря, комкал носовой платок, уставясь в пол, и эта обожженная шея его, проседь в висках, скомканный носовой платок показались Ермакову жалкими сейчас. «Почему он не спрашивает ни о чем? Почему он не говорит, что на левом берегу не осталось ни одного целого орудия? Не знает?» Ермаков вырвал листок из записной книжки, быстро написал: «На плацдарме не одно орудие, а два. Два остальных разбиты при переправе. На острове нет ни одного орудия моей батареи».

– Разрешите, товарищ полковник? – громко сказал Ермаков, обращаясь к Иверзеву.

– Вопрос?

– Нет, не вопрос.

И, провожаемый взглядами насторожившихся офицеров, Ермаков передал записку полковнику Гуляеву, а тот медленно, преодолевая боль в шее, обернулся к нему, утомленно обвел его улыбнувшееся лицо что-то особо знающими глазами, развернул записку, прочитал и ничего не ответил. «Почему он молчит? Что он?» – вновь раздраженно подумал Ермаков.

– Вопросы? – повторил отчетливо Иверзев. – Полковник Гуляев, вам все ясно? Кстати, кажется, вам передали записку? Может быть, она представляет интерес для всех?

Гуляев грузно встал, будто отяжелевший в ногах, и молчал так длительно, что лица офицеров напряженно оборотились в его сторону.

– Что вы молчите, Василий Матвеевич? – с какой-то надеждой спросил подполковник Савельев, и тогда Алексеев сказал:

– Дайте Василию Матвеевичу подумать...

– Товарищ полковник, – размеренным голосом проговорил Гуляев, ссутулив широкую спину, – приказ ясен... Но вот что... Из четырех орудий полковой батареи два на плацдарме. Два разбиты при переправе... Кого мне прикажете посылать? Я прошу дополнительных огневых средств.

– Два? Как два? – изумленно переспросил Иверзев. – Почему так поздно докладываете?

– Виноват, товарищ полковник, – выговорил Гуляев. – Я не мог знать. Я выполнял ваше приказание на станции Узловая.

– С орудиями мы решим, – утвердительно сказал полковник Алексеев. – Да, да. Придется, видимо, взять взвод в арtpолку. Да, придется.

– Товарищи офицеры! – сухо произнес Иверзев. – Всем немедленно приступать... Никого не задерживаю. Все свободны...

Из тепла, из света комнаты командиры батальонов стали выходить в плотную тьму улочки, в шум деревьев, на холодный ветер, сквозь который понеслись колыхающиеся голоса:

– Липтяев, лошадь!

– Сиволап, давай сюда! Где пропал?

Продрогшие ординарцы подводили лошадей ближе к крыльцу, застоявшиеся лошади, привыкшие к фронтовой темноте, косили глазами на свет из дверей, фыркая, шевелили влажными ноздрями. Осенний воздух был зябок; и черное небо, вымытое в выси октябрьскими ветрами, мерцало студено, звездно, и ясен и чист был, как снежная дорога, Млечный Путь в холодных черных пространствах над этой деревушкой, над Днепром, над немецкой обороной по правому его берегу.

Командир первого батальона майор Бульбанюк, тяжело крикнув, перекинул сильное тело в седло, буднично спросил Ермакова, который, сходя по ступеням крыльца, закуривал, чиркал зажигалкой:

– Капитан, что там за ерунда на станции приключилась?

– Начальника тыла под суд отдают, кажется.

– Виноватого найти легко, – сказал Бульбанюк. – Липтяев, поехали!

И пустил коня рысью, опережая ординарца.

Полковник Гуляев вышел на крыльцо вместе с Алексеевым. В желтом квадрате распахнувшихся дверей Ермаков увидел их фигуры: невысокую, налитую полковника Гуляева, длинную, узкоплечую – Алексеева. И мгновенно в свежем воздухе запахло цветочным одеколоном – чисто плотный запах чего-то мирного, давным-давно забытого.

– Капитан Ермаков, – сказал Алексеев вполголоса, спускаясь по ступеням, – вы получите в арtpолку два орудия с расчетами. Добавьте своих людей. По вашему усмотрению. Ну, дорогой мой, ни пуха вам ни пера! И людей... людей берегите, дорогой мой!

Это странное «дорогой мой», фраза «ни пуха вам ни пера» – обращение и непростое и необыденное – вдруг сказало все: то, что было несколько минут назад в штабе, очень серьезно, и если после боя он останется жив, то не услышит больше необычное «дорогой мой», не почув-

ствует больше невоенного пожатия руки Алексеева – это переступало установленные взаимоотношения. К штабу полка шли молча, на ощупь обходя рытвины, наталкиваясь на влажные от росы повозки, и Ермакову казалось, что в сыром воздухе еще таял ненужный, беспокоящий запах цветочного одеколona, напоминая о том, что простая, недавно тихая жизнь круто изменила русло, и это возбуждало его.

– Одного не понимаю, – сказал Ермаков и швырнул папиросу под ноги. – Зачем унижаться перед Иверзевым? Почему вы мало попросили огневых средств для батальонов? Посмотрели бы на комбатов – все ждали...

– Молчать! Мальчишка! – гневно перебил Гуляев. – Приказ есть приказ. Тысячу раз спрашивай о средствах – их не дадут, а приказ не отменишь! Фланги! – Гуляев зло рванул его за рукав шинели. – Ничего не понимаешь?

– На войне везде риск. Это нетрудно понять.

– Молокосос! Зяблик! Все с риском живешь, а не с умом!

Ермаков сказал:

– Я не хотел бы ссориться, товарищ полковник.

– Молчи! – прервал Гуляев. – Пойдем ко мне. Поужинаем. – И внезапно, как никогда этого не делал, притянул Ермакова к себе, стиснул до боли в плечах. – Успеешь. Дам лучших лошадей. Успеешь... туда, успеешь...

Глава 5

По дороге в штаб батальона он не думал о Шурочке; лишь вскользь вспомнил насупленное лицо Гуляева за торопливым ужином: тот залпом выпил кружку водки, некстати сказал, что домой матери о своем возвращении из госпиталя хоть строчку бы черкнул, и, не закусывая, точно скорее хотел проститься, наконец остаться один, крикнул:

– Жорка, двух лошадей. Поедешь с капитаном! – и, даже не обняв на прощание, закончил сумрачно: – Все!

Каждый раз, когда капитану Ермакову приходилось выкатывать батарею на прямую наводку или, стоя впереди пехоты, стрелять по танкам, было это «все». «Все» – это конец прежнего, грань нового, черта жизни и смерти: сумасшедший огонь, раскаленные стволы орудий, тошнотворная вонь стреляных гильз, страшные в копоты глаза наводчиков. Это называлось подвиг, почетный поступок, вызывающий потом зависть у тыловых офицеров, отмеченный, как правило, боевым орденом или очередной звездочкой на погонах, но тяжелый, грубый, азартный, с солью пота на гимнастерках в тот момент, когда человеческие чувства предельно оголены, когда ничего в мире нет, кроме ползущих на орудия танков. Ермаков любил эти минуты и, не задумываясь, не жалел ни себя, ни людей: он честно рисковал, честно был там, где были все. Он верил в справедливую жестокость судьбы. В жестокость к тем, кто был уверен, что каждая взвизгнувшая пуля летит в него. На войне много раз было это «все», и сейчас это новое «все» не угнетало, не беспокоило его опасностью, – наоборот, он чувствовал подъем духа, возбуждение.

– Жорка, не отставать! – крикнул Ермаков, хлестнув коня, и разом стало холодно глазам от хлынувшего из тьмы ветра.

– И не думал даже, – ответил Жорка, на рыси притирая вплотную коня к стремени капитана, – как часики, успеем.

Ему нравился этот Жорка, ясный, спокойный, как летний день, и он спросил весело:

– Жуешь все? Есть галеты?

– Все вашим артиллеристам оставил. Карманы чисты, как душа.

– Черт бы тебя взял, – неопределенно сказал Ермаков.

В землянке штаба батальона никого из офицеров не застали. Единственный телефонист, устало дремавший на соломе возле аппарата, сонным голосом сообщил, что роты полчаса назад снялись, а он по приказу уходит отсюда минут через двадцать. Ермаков спросил:

– Связь с артиллеристами, что на острове, есть?

– А на кой нам с ними-то, товарищ капитан? Только со штабом полка. И то снимаемся.

Ермаков раздраженно выругался, взглянул на фосфоресцирующий циферблат ручных часов (подарок наводчика Елютина), подозвал Жорку, державшего в поводу лошадей:

– Мигом скачи в батарею к Кондратьеву. Скажешь: в мое распоряжение Кравчука, Бобкова, Склера и... Шуре – ни слова. Всех посадить на лошадей.

– Есть!

– Подожди. Встретимся в Золотушине. Это по дороге вдоль Днепра. На юг. Через час быть там. Ни минуты опоздания. Я в арtpолк. Ну, как ветер!..

В четвертом часу ночи прямо на огневых позициях арtpолка, стоявшего в лесу, Ермаков снял два орудия с полными расчетами.

Здесь уже знали приказ Иверзева. Орудия были приведены в походное положение, заспанные, ничего толком не понимающие солдаты жались кучками на станинах, зябко кутались в шинели. Командир батареи капитан Ананян, с осиной талией и тонкими усиками, и молоденький командир взвода лейтенант Прошин были тут же, на огневой. А когда Ермаков

подал команду «на передки» и расчеты забегали, выкатывая орудия из дворики, и, звеня вальками, упряжки подкатили передки к огневому, капитан Ананян сказал:

– Помни, как сдаю тебе орудия и людей, так и получаю. Понял меня?

Ермаков ответил:

– Лейтенанта Прошина я мог бы не брать. Пусть остается в батарее.

– Но это же мой взвод, товарищ капитан, – умоляющим голосом заговорил лейтенант. – Я прошу вас, очень... Мне надо быть с людьми.

– Совершенно верно, – подтвердил серьезно Ананян.

Ермаков вскочил в сухо скрипнувшее седло; не ответив Ананяну, направил лошадь к орудиям, скомандовал:

– Держать самую короткую дистанцию. За мной! Ма-арш!

Через полчаса он вывел орудия на знакомую лесную дорогу, по которой вчера мчался на «виллисе» к Днепру. Теперь эта дорога вела в тыл, и пулеметные очереди за спиной, мигание ракет над вершинами леса, кишевшего войсками, – все сейчас отдалялось, затихало. И мнилось уже Ермакову, что в госпитале он вовсе не лежал, что вчерашнее было несколько месяцев назад. Просто вернулось знакомое: понтонный мост, где, громыхая, еще двигались повозки, темные буфы убитых лошадей, разбитый «студебеккер» на обочине дороги, воронки бомб; всплыло вдруг в памяти полное румяное лицо Иверзева, потом холодные, неподвижные губы Шурочки, донесся запах цветочного одеколона, – чувствуя, что первое возбуждение прошло, он рванул повод, тряхнул головой.

– Рысью марш!..

От небольшой деревеньки, битком набитой тылами, по ее улочкам, насквозь пропахшим кухонным дымом, Ермаков повернул взвод на южную дорогу, в сторону Золотушина; теперь она петляла в лесу вдоль фронта, в нескольких километрах от Днепра. И отсюда не было видно фиолетового света ракет, не было слышно пулеметов, лишь иногда с обвальным ухающим грохотом рвался одинокий тяжелый немецкий снаряд в сырой чаще, и эхо долго, замирая, бродило по своим воздушным тропам.

– Рысью ма-арш!..

Он повторял эту команду, чтобы не ослабить нервное напряжение. Глаза его давно свыклись с темнотой, но Ермаков скорее угадывал дорогу, инстинктивно нагибаясь, когда черные лапы елей влажно ударяли по фуражке; слышал, как сзади легонько звенели вальки передков, как колеса орудий тупо стучали по корневищам; и, оглядываясь, не видел во тьме, а представлял расчеты, цепко облепившие станины и передки: там их было пятнадцать человек.

– Стой, стой! – раздался крик сзади и оборвался в вязкой тишине.

Ермаков круто повернул лошадь, ударил ее плеткой, подскочил к орудиям.

– Что у вас еще?

Было тихо. Первое орудие стояло. Ездовой, ползая на коленях, со злобой ругаясь шепотом, возился около лошадей выноса, словно кнут потерял, шипел сквозь зубы:

– Ногу, ногу же, упарилась, дура... Да ногу же...

– Быстрее! – поторопил Ермаков. – Что возитесь?

Он нетерпеливо соскочил на дорогу.

– Быстрее, быстрее, – послышался неуверенный голос лейтенанта Прошина, и узкая фигура с поднятым до ушей воротником приблизилась к Ермакову, потом рядом он услышал шепот: – Что-то очень тихо, товарищ капитан... Замечаете? Возможно, тут еще немцы? Подозрительно как-то...

– Возможно, Прошин, – насмешливо ответил Ермаков. – Если уж напоремся на немцев, развернем орудия на дороге. А на всякий случай всегда сохраняйте один патрон в пистолете. Ну? Готово там? – И оглянулся в темноту на орудия.

– Готово, – ответил недовольный голос.

– Садись! Держаться самой короткой дистанции! Марш!

Рассвет он почувствовал по туману, сначала смутно, островами забелевшему в глубине чащи, затем справа и слева у дороги. Воздух вокруг посинел, заметно прояснилось впереди, и там заколыхалось что-то невесомое, живое, трепетное, как будто белый дым пополз от костра через кусты на дорогу. Мокрыми монетами заблестели в старой колее облитые росой опавшие листья. Сразу похолодало; по разгоряченной спине проползла сырая зябкость, рукава шинели покрылись влагой. Ермаков, поеживаясь, глянул назад: проступившие силуэты орудий двигались в серой мути рассвета.

– Подтяни-ись!

Внезапно впереди распались леса, и внизу открылась долина, до краев залитая туманом. В этом тумане угадывалась близкая вода, запахло рыбой, сыростью, намокшей осокой; купы кустов расплывчато темнели, над ними тянулась молочная мгла. Лесная дорога обрывисто уходила туда, вниз, в туман.

– С рыси на шаг! Одерживай! – скомандовал Ермаков и попридержал лошадь у обочины: он хотел посмотреть при свете утра на орудия, на расчеты.

Первая упряжка на рыси вынырнула из лесного сумрака, следом – другая; увидев спуск, выносные ездовые осадили потных, дымящихся лошадей; лейтенант Прошин, уже отогнув воротник шинели, легко мелькая хромовыми сапожками, первый спрыгнул на дорогу, побежал, споткнулся, скомандовал притворно бодро: «Всем орудиям одерживать!» – и живо посмотрел вокруг неестественно зеркальными после бессонной ночи глазами. И Ермаков понял его взгляд: видите, все хорошо, ночь прошла без осложнений, а теперь утро – как ни говорите, страшного ничего не случилось! – и понял он мимолетные недобрые взгляды невыспавшихся солдат, вразброд, неуклюже соскочивших со станин; угрюмые лица, торчащие, влажные от росы воротники, сгорбленные спины. Почти на каждом крепкие ботинки, новые, неумело и туго накрученные обмотки: наверняка пополнение из освобожденных районов. «Кто ты такой? – мрачно спрашивали эти взгляды. – Куда нас ведешь? Зачем?» И Ермаков вдруг разозлился на капитана Ананяна (кого послал?) и на этих людей (лежали, милые мои, на горячей печке у баб под боком, когда другие мерзли в окопах!) и, поморщившись, так сильно махнул плеткой, что лошадь под ним шарахнулась в сторону.

– Всем опустить воротники! Не толкаться возле орудий, а лошадям помогать! Да дружной!

Командиры орудий, два ладных, подтянутых сержанта одинакового роста, торопливым эхом повторили команды, солдаты, кто суетливо, кто нехотя, опустив воротники, забежали у колес орудий, выказывая нарочитую старательность.

– Лейтенант Прошин, ведите первое орудие. Командиры орудий, ко мне!

Первая упряжка тронулась. Ездовые что есть силы натягивали поводья, коренные лошади, хрипя, мотая головами, приседали на задние ноги; передок, тяжестью орудия наваливаясь на коренных, вальками ударял по ногам. Упряжка спускалась в туман. Когда же второе орудие нырнуло в белесую мглу, Ермаков строго взглянул на командиров орудий и, несколько удивленный, помолчал. Перед ним стройно вытягивались два одинаково молодых сержанта, одинаково большеглазых, одинаково широкоплечих.

– Кажется, я не пьян, – немного отходя от прежнего чувства злости, сказал Ермаков, – но у меня вроде двоится в глазах. Вы что, близнецы?

– Так точно, товарищ капитан, – ответил один из сержантов.

– Что же, все время вместе воюете? Давно на войне?

– Так точно, товарищ капитан, второй год.

– Вы откуда сами?

– Из Москвы, товарищ капитан.

– Здорово! Земляки, значит! Где жили?

– На Таганке, товарищ капитан, а вы?

Один из братьев улыбнулся детской, чистой улыбкой, и другой улыбнулся тоже, словно в зеркале отразилось.

– Я? В Сокольниках! Ну, как же мне различать вас, братцы? Ваша фамилия?

– Березкины, товарищ капитан. А в батарее нас различают по именам: сержант Николай Березкин и сержант Андрей Березкин. Это только сейчас так. Вы к нам привыкнете. Будете различать.

Ермаков засмеялся.

– Черт его знает, первый раз на войне встречаюсь с близнецами! – И, перегнувшись с седла, спросил: – Вы мне вот что скажите, Березкины: состав расчетов из пополнения?

– Так точно, товарищ капитан. Из Сумской области.

– В боях были? Или прямо к Днепру от печек?

– Никак нет, были в одном бою. Ничего. Конечно, не совсем.

– Ладно, проверю! По местам, Березкины!

Спуская коня по покатой дороге в долину, к орудиям, он услышал свежий голос лейтенанта Прошина. Лейтенант шел возбужденный, невесомо ставя ноги в хромо́вых сапожках, сияя навстречу улыбкой Борису как давнему знакомому.

– Что, отдых, товарищ капитан?

– Какой отдых? – ответил Ермаков, с внезапной неприязнью увидев на молодом, веселом лице Прошина тонкие светлые усыки. («Подражает Ананяну, что ли?»). – Отдых будет на том свете, поняли? А усы зачем, усы?..

И, чувствуя, что сказал грубо, оскорбляюще, он нисколько не осудил себя за это, хлестнул лошадь, проскакал мимо обиженно покрасневшего Прошина, мимо солдат и орудий, мимо потных, поведивших боками упряжек. Он многое видел на войне и чувствовал за собой право так говорить с людьми, потому что презирал «сентименты» и больше других знал цену опасности.

– Рысью ма-арш!

В лесную деревушку Золотушино, расположенную в километре от Днепра, прибыли на ранней заре: над лесами чисто и розово пылало небо, и, подожженные холодным пламенем, горели стволы сосен, светились влажные палые листья на земле, над крышами домов краснели редкие дымки. В деревне было по-раннему тихо; кое-где во дворах темнели повозки; дымила на окраине одинокая кухня, и сонный повар, гремя черпаком, возился возле котла. Еще издали Ермаков увидел на околице Витьковского. Он был без пилотки, белокурый, грыз семечки, сплевывал шелуху небрежно на шинель, посмеиваясь, переговаривался с поваром. Когда орудийные упряжки вырвались из розового лесного тумана, Жорка стряхнул прилипшую к шинели шелуху и, подкинув запотевший от росы немецкий автомат на плече, вышел на дорогу.

– В порядке? – быстро спросил Ермаков, не слезая и сдерживая разгоряченную лошадь. – Батальон Бульбанюка здесь? Людей из батареи привел? Вижу, привел!

А Жорка светло, невинно смотрел голубыми глазами в лицо капитана.

– Привел одного Скляра. Остальные – тью-тью! С Кондратьевым на ту сторону поплыли. Скляр говорит: немцы на всю катушку огонь вели, а они в это время...

– Совсем досадно! – проговорил Ермаков. – Где Бульбанюк? Показывай, в какой хате штаб.

– А пятый дом направо.

* * *

Через несколько минут, отдав приказание лейтенанту Прошину разместить людей, он вошел в штаб батальона.

Из комнаты повеяло теплом огня: тут топилась печь. Оранжевые блики играли на грязной ситцевой занавеске. Перед занавеской, в первой половине, прямо на полу, в соломе, храпел в воротник шинели обросший солдат, у изголовья на гвозде висели три автомата. Ермаков перешагнул через спящего, отдернул занавеску. На высокой кровати лежал начальник штаба батальона старший лейтенант Орлов, в галифе, но без гимнастерки и босой. Злое, цыганского вида лицо его с тонкими черными бровями было повязано пуховым платком. Он втягивал сквозь сжатые зубы воздух, пальцы на ногах беспокойно шевелились. На табуретке, на развернутой карте стояла недопитая бутылка мутного самогона, жестяная кружка, рядом – нетронутый кусок черного хлеба; планшетка валялась на полу подле грязных сапог.

– Ах сволочь! Ах стерва! – стонал Орлов, непонимающе глядя в потолок, прикладывая кулак к платку. – Чтоб тебя разорвало, собачья душа! Что ты возишься? Что возишься, как жук навозный? – закричал он, упираясь глазами в худую, робко пригнутую спину радиста, который сидел с наушниками около рации. – Что ты мне ромашками голову морочишь? Давай связь! Связь!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.